

...ЛОМОТЬ золотистого церковного купола в туманной мгле и огромные бревна, — при помощи актеров они превращаются то в струги, то в скамьи, то в плаху, то, как в музыке, в тревожные ритмы трагедии...

На этих бревнах — весело ли, хмельно ли, смертно ли вокруг — кувыркаются, пляшут, играют на дудках, на жалейках, на пузырях скомороха. А в центре бушует и мучается неудержимый донской казак, притягивающий и страшный, что и сам-то не может охватить разумом: как это он в такую историческую рань (семнадцатый век на дворе) вздыбил Россию и куда ему ее дальше вести на волжских стругах и конях?

Таков «Степан Разин» Михаила Ульянова и художника Иосифа Сумбаташвили, которые обратились к роману В. Шукшина в вахтанговском театре.

История Разина и его вольницы воскрешена сейчас лишь в одной Москве в трех театрах, в том числе и в Театре имени Евг. Вахтангова, о котором идет речь. Вероятно, в этом увлечении сыграло роль в какой-то мере магическое имя Василия Шукшина, написавшего о Разине свой последний роман и долго, заветно мечтавшего перенести его на экран и самому сыграть роль крестьянского вожака, чьим именем называли острова, утесы и романы.

Как жаль, что мы никогда не увидим этого фильма, в котором, я уверен, даже уязвимые места шукшинского повествования, его эпизодичность, его «хломатость», его захлеб стали бы его достоинствами.

Впрочем, дело не только в Шукшине. Пушкин из Михайловского писал в 1824 году брату, как он проводит свои опальные дни. После рассказа об утренней работе и обязательной верховой прогулке поэт продолжал:

«...вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки прозялого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма! Ах! Боже мой, — добавлял он, — чуть не забыл! вот тебе задача: историческое, сухое известие о Сеньке Разине, единственном поэтическом лице русской истории».

Подумать только — единственном! Декабристов еще не было. Они выйдут на Сенатскую через год после этого письма. Не обольщался ли Пушкин насчет Разина, собирая цикл песен, ему посвященных? Нет, он знал и его жажду воли, и его жестокость, как знал беспощадность бунта Пугачева. Но, трудясь в архивах и опубликовав в 1834 году «Историю Пугачева», он в последний год перед смертью успел написать прекрасную сказку о казацком вожаке, ту сказку, о которой он сам когда-то сказал: каждая есть поэма.

И впрямь, разве «Капитанская дочка», при всех жестокостях крестьянской революции,

не очаровывает нас Пугачевым, который так щедро расплачивается за пожалованный ему когда-то Гриневым тулуп, подарив юноше одежду, и коня, и невесту, и свободу, и жизнь!

Поэзия и история для Пушкина были нерасторжимы.

Итак, реальная жестокость истории, «историческое сухое известие» о Разине, или поэма — вот две возможности для постановки трагедии Шукшина о Разине. Они стояли перед Театром имени Евг. Вахтангова, перед одним из авторов инсценировки романа А. Ремезом, одаренным сорежиссером М. Ульянова Г. Черняховским (я видел его прежние работы) и самим Михаилом Ульяновым, который в данном

случае выступил во всех этих ампулах, добавив к ним главное: исполнение роли великого мятежника Руси. Пушкинские слова были, конечно, известны театру. Впрочем, и из самой шукшинской прозы могла родиться та стихия скоморошества, что пронизывает спектакль. Она звенит в сцене «венчания» шубы Разина с астраханским боярином Прозоровским. Она особенно пронзительна, когда веселые дудочки раздаются в тягостной тишине трагедии. Порой поэтическая, или «пиитическая», суть скоморошества сникает, и вся компания шутов превращается в какой-то банальный хор коллективной декламации.

Но вот повозка, как карнавальная колесница, где красуется в «невестах» шуба и сначала гаерствует в роли шутейного московского царя, а потом лежит мертвым казак Стырь, возле которого постепенно, такт за тактом, шаг в шаг, пляс в пляс разгорается

На снимке: сцена из спектакля «Степан Разин». Степан — М. Ульянов, Фрол — О. Форостенко

Фото Г. ЦИТРИНЯКА



В. КОМИССАРЖЕВСКИЙ, заслуженный деятель искусств РСФСР

НЕИСТОВОЕ СЕРДЦЕ СТЕПАНА РАЗИНА

трагический танец, ведомый атаманом, чтобы не задыхнулось от тоски войско, — все это принадлежит к счастливым «изобретениям» спектакля.

Театр достаточно точно следует дорогой романа — от церковной анафемы пролога

до финальных диалогов распятого Разина.

Но чем возместить на сцене эти плачи-заговоры, которые окутывают в романе жестокие дела музыкой небывалых слов: «Заговариваю я своего ненаглядного дитятку Сте-

пана, над чашею брачною, над свежеею водою, над платом венчальным, над свечною обручальною?»

Как передать восход солнца и закат его над степью, когда Разин ждет с пасынком, что прилетит синяя сказочная пти-

ца их мечты? И чем заменить ту драгоценную прозу, которую Шукшин как бы омыкает, просветляет немислимые жестокости атамана: «Потом шли рядом — конь и человек. Голова к голове. Долго шли, медленно шли, точно выходили на берег из мутной, вязкой воды. Солнце вставало над землей. Молодой светлый день шагал им навстречу, легко раскидывая по степи дорогие зеленые ковры». В данной структуре пьесы это сделать трудно.

Поэзия живет в неистовом по самоотдаче исполнении Разина Михаилом Ульяновым. Он много понял в своем атамане: его крутой, гордый нрав, его опыт и его военную хитрость, его ум, его скоморошество, его пружинистую хватку, его сердце — игралище бешеных страстей, когда он, не совладав с собой, вестника дурных вестей застрелить может, а потом исто-во кается: «Братцы, срубите... не могу больше: грех замучает... срубите!» «Ох, люди, люди!» — слышу я этот вопль, неистовый и скорбный! Конечно же, Разин — фигура трагическая. И потому, что был он «преждевременным человеком», и потому, что нес он в себе трагическую вину жестокости, которой вынужден был отвечать на жестокость. Такова, как мне кажется, концепция Ульянова, который в последних ролях в театре идет на то, чтобы прочертить свою точку зрения резко, крупно, не боясь возможных издержек.

М. Ульянов понял жажду во-

ли Разина. Она так по-детски откровенна и яростна в спорах с Фролом Минаевым (в котором артист, увы, не находит достойного противника), с ласковым синеглазым убийцем Ларькой (артист Н. Ярославцев), с Матвеем Ивановым; в превосходном исполнении Е. Карельских он был бы еще более принят нами, если б жила в этом «мужиком апостоле» некая душевная задумчивость, что ли, на чем в романе неизменно настаивает В. Шукшин. Неистовый Разин предстал перед нами, хотя поэзия здесь еще и не достигла своего торжества, ибо это может произойти только тогда, когда мы увидим, что и сама жестокость, как ни осуждает ее наше нравственное чувство, рождается из безмерного страдания Разина людям, из великой доброты души его. «Много умных и сильных, — писал Шукшин, — мало добрых, у кого болит сердце не за себя одного. Разина очень любил». Потрясенным хочется быть минуту, когда Разин погибает на своем мученическом кресте. Потрясение еще впереди...

И все же, возвращаясь после этого спектакля, где поэзия истории порой уступает ее натуральной жестокости, я думаю о тех высоких уроках самоотверженности на сцене, которые дает всему театру нашему, где так часты всего лишь «корректные» исполнения, актер, что не боится каждый вечер сжигать свое сердце.